

Лауреат про лауреата

Судьбы этих двух известных литераторов (быть может, правильнее сказать — знаменитых) схожи прежде всего в том, что оба они принадлежали к так называемым диссидентам и в результате оказались за рубежом. Оба были осуждены: Солженицын — за антисоветскую деятельность в 1944 году, Бродский — за тунеядство в 1964-м. Оба получили международную известность как преследуемые КГБ, а также как писатели, чьи произведения не публикуются в СССР. За границей оба широко публиковались и были отмечены Нобелевскими премиями.

Что еще роднит этих авторов? То, что за рубежом они проявили себя как рьяные антикоммунисты. И более того: Солженицын в яростном порыве призывал западные державы начать ядерные бомбардировки СССР (не ведал, что творил?), а Бродский в стихотворной форме подхватывал, говоря о Москве: "Лучший вид на этот город, если смотреть в бомбардировщик".

Можно обратить внимание, что каждый из них добился известности с помощью классиков советской литературы. Так, Солженицын "сделал" А.Т. Твардовский, опубликовавший в "Новом мире" повесть "Один день Ивана Денисовича" и рассказы, сразу ставшего известным писателем, затем пытавшийся опубликовать другие произведения. Тем не менее в своей автобиографической книге "Бодался теленок с дубом" Александр Исаевич вспоминал А.Т. Твардовского как робкого редактора, не оказавшего ему, Солженицыну, необходимой помощи. Бродский про Анну Ахматову, которая к нему благоволила, плохого не говорил, но и особой благодарности не выказывал. Кстати сказать, а о большинстве знакомых и незнакомых писателей говорил с пренебрежением.

Тем интереснее, когда один из нобелевских лауреатов пишет о другом. Сегодня мы знакомим наших читателей с отрывками из статьи Александра Солженицына "Иосиф Бродский — избранные стихи", опубликованной в журнале "Новый мир" (№ 12, 1999).

Николай ГОРБАЧЕВ

Изражающее ли окунание в хляби языка, однако без чувства меры, приводит к лексике, подбираемой новичками для изображения простонародья (тут и нарочитая ирония, конечно): не осерчай, сённая, вестимо, мене, завсегда, даве, нове, вчераш, неча, невесть, опричь, поди, супротив, эх, впрямь. И рядом с этим всем высокопоэтическое славянское "зане" (и не раз, да же и в таком сочетании: "Зане... есть предмет эволюции").

Очень неосторожное, даже безответственное обращение со словом "вещь". Когда надо ли дозаполнить строку, или не находит Бродский точного слова для предмета, явления, он ставит "вещь", как это делают только в расплывчатом, мусорно-бытовом словоупотреблении. "Вещь" у него — это и памятник, и коровий напильник, и "воздух — вещь языка", и сельские дома: "в деревянных вещах замерзая в поле"; и "не бздюме(?) утряски вещи с возрастотом"; и "идеешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста"; и "сиротство вещей, не получивших грудь материнскую".

Вопреки грамматике Бродский неправильно обращается с глаголом "суть": многократно соединяет его с единственным числом существительного: белизна (суть отраженье), "это суть местный комплекс", "он суть", "будущее суть". Унылое впечатление производит довольно частое и небрежное употребление слова "плюс": "плюс нет" (чего), "плюс отсутствие", "плюс нас", "плюс эффект штукатурки". И не однократное, но многократнейшее, монотонное употребление на концах, затем уже и внутри стихотворных строк — "и проч.", "и т.д.". Затем в строки вклиниются и "так наз.", "сах. песок", "пиш. машинка", "А.П. Чехов", "А.С." (Пушкин). И кому, как не поэту, воспрещается нарушать эвфонию: "со взглядом" бы, а не "с взглядом", поди произнеси.

Так что принять Бродского за мэтра языка — трудновато. То и дело сдвигая стих в сторону прозы (и притом тяжелой), Бродский оставался в поверхностном убеждении принципиального превосходства поэзии над прозой и высказывал это не раз. Например, в том же стамбульском эссе: что проза "лишена какой бы то ни было формы дисциплины" — весьма опрометчивое суждение. А в интервью с Джоном Гладом на вопрос: "Поэты наверху, прозаики внизу?" — с легкостью отвечает: "ну это само собой". Не такто "само собой". Вот Гете высказал однажды: стихотворно пишет тот, кому нечего сказать: слово тянет за слово, рифма за рифму.

Отстранение от людей Бродский выражает настойчиво: "я не люблю людей"; "я вообще отношусь с недоверьем к ближним"; "в определенном возрасте человек устает от себе подобных"; "не ваш, но и ничей верный друг". Хотя не раз поминаются в стихах его эротические соединения, но постоянное амплуа Бродского: один, сам по себе, молчаливый сторонний наблюдатель, одинокий и гордый. Сквозь стих его часто сквозит пронзительно-презрительный тон.

В себе он и замкнут, и даже — посочувствуем — безысходно. Прочтем такое: "кого ж мы любим, как не себя?" Годами Бродский себя саморазглядывает, и это ощущение, часто и не названное прямыми словами, нависает едва ли не над каждым стихом и тем пейзажем, который в нем описывается. От ранних лет Бродский несомненно уверен в своем поэтическом успехе. "Жаль топора это еще в СССР да зеленого лабра", "я дразню гусей и иду к бессмертию"; "имея возвышенный нрав". Правда, он не саморисует, себя описывает без любования, небрежно: "дряблая мышца", "кудель седых подпалин", "с присохшей к губе сигаретой", — но это не помеха к его снобизму, то и дело мелькающему мимоходом. Позже поэт скажет — в признании? или в приличной объяснении? — "Снобизм? но он лишь форма отчаяния". Догадаем-ся: но и форма самокрытия.

Так прежде своей физической смерти, и даже задолго, задолго до нее, Бродский всячески примерял к себе смерть. И тут — едва ли не основной стержень его поэзии. В поздних стихах его еще нарастает мало сказать безрадостность — безысходная мрачность, отчуждение от мира. (Но и — с высокомерными нотками.)

Нельзя не пожалеть его.

Что до общественных взглядов, Бродский выражал их лишь временами, местами. Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения, а лишь: "Я не занят, в общем, чужим блаженством". Его выступления могла бы призывно потребовать еврейская тема, столь напряженная в те годы в СССР. Но и этого не произошло. Было, еще в юности, "Еврейское кладбище около Ленинграда", позже "Исаак и Авраам" — но это уже на высоте общечеловеческой. Да еще глава из "Литовского дивертисмента" — и все. Еврейской теме Бродский уделил, кажется, меньше внимания, чем античной, английской или итальянской. На общественно-политические советские темы Бродский стал высказываться только уже за границей: "смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою" (отлично сказано!). И невольно вослед: "Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной", "пшеница перешла, покинув герб, в гербарий". А "в стенку гвоздь не вбит и огород не полот" — это уже сбой, не о власти, а о безнадежном простонародьи. И, наконец, через дюжину лет после эмиграции — непригляднейшее "Представление" — срыв в дешевый расешник, с советским жаргоном и матом, — и карикатура-то не столько на советскую, сколько на Россию, на это отвратительное скотское простонародье, да и на православие заодно: "Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю". Тут появляется и "Гоголь в бескозырке" и "Лев Толстой в пижаме", и он, оказывается, "предшественник Тарзана". Надо же было столько лет высижаться в поэзе метафизического поэта, чтобы так "физически" вывалиться!.. Наконец и о Москве: "Лучший вид на этот город — если смотреть в бомбардировщик".

Мысли, признаться, никак не демократические, а элитарные. Но сколько и демократы остаются таковыми лишь до той черты, пока не коснутся их индивидуальных прав.

А Бродский — он никогда и не присягал демократии. Он был всегда — элитарист, так и говорил откровенно. Он — органический одиночка.

...Но вот, когда читаешь весь том подряд, то, начиная от середины, возникает как бы знание наперед всех приемов и всего скепτικο-иронического и эпатирующего тона. Иронией — все просочено и переполнено. Юмор? Если и просквознет изредка, то не вырываясь из жесткой усмешки.

Известно: после Первой мировой войны ирония как манера взгляда на мир все более захлестывала западных интеллектуалов. До двух третей века многообразные советские заслоны мешали этому потоку захватить и подсоветские умы. С брежневской эпохи перетек начался и к нам, сперва — в сферу частной (или "кухонной") мысли. Но уже с 80-х годов завидно уверенно возглащается: "ирония — религия нашего века", она захватывает весь небосклон мировосприятия, затем и самого субъекта: в XX веке для пишущего "невозможно принять и себя абсолютно всерьез". (Хотя, заметим, каждому Божьему творению дано отроду чувствовать все существующее всерьез.)

И мода эта не могла не заполнить Иосифа Бродского, возможно, при очевидной его личной уязвимости, — и как форма самозащиты. Иронию можно назвать сквозной чертой, органической частью его мироощущения и всеохватным образом поведения, даже бравадным педалируемым (в чем проглядывает и признак беспомощности). Незменная ироничность становится для Бродского почти обязанностью поэтической службы.

Едче всего изызывить таким подходом любовную ткань. Вот берет Бродский за сюжет Марии Стюарт, столь романтически воспетый многими, и великими, поэтами. Но романтика для него дурной тон, а проявить лиричность — и вовсе недопустимо. И он — резкими сдёргами профанирует сюжет (заодно — и саму сонетную форму), снижает до глумления: "кому дала ты или не дала", "для современников была ты блядь", и даже к ее статуе в Люксембургском саду: "пусть ног тебе не скидывать в зенит". Еще и диссонансами языковыми: "слюды", "топ-топ на эшафот", "вдарить", "вчераш", "аташ!", "и обратиться не к кому с "иди на", — и это чередуется со светскими реверансами — какое-то мелкое петушинство. И весь цикл (оттененный признанием, что именно Мария Стюарт его, мальца, "с экрана обучала чувствам нежным") написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью.

Чувства Бродского, во всяком случае выражаемые вовне, почти всегда — в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жесткого анализа. И когда Бродский пишет о себе "кровь моя холодна", и даже "я нанизан на холод", — это кажется вполне верным внутренне, а не по внешнему объяснению ("я не способен к жизни в других широтах"). В этом неизменно приполярном душевном климате поражает скорее чувство, остро проступившее: "в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя".

Беззащитен оказался Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить. (А ведь до какой бы хаотичности ни усложнялся нынешний мир — человеческое создание все равно имеет возможность сохраниться хоть на один порядок да выше).

Из-за стержневой, всепроникающей холодности стихи Бродского в массе своей не берут за сердце. И чего не встретишь нигде в сборнике — это человеческой простоты и душевной доступности. От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику. Этот эффект усиливается от столь же устойчивого, сквозного мировосприятия автора: он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью — с брезгливостью к бытию, с какой-то гримасой неприязни, нелюбови к существующему, а иногда и отвращения к нему.

Не удивительно, что сильнейшую встряску испытал Бродский, в его 24 года, от судебносмыслных испытаний. Впечатления эти он выразил в преувеличенно грозных стихах: "Я вошел вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке..." (Срок — первоначально 5-летний лагерный — сведен был к 17 месяцам деревенской ссылки, по гугаговским масштабам вполне детский.)

...Мировая слава Бродского вокруг его судебного процесса сначала сильно перешагнула известность его стихов. И, по-видимому, произвела сильное впечатление на самого поэта. На процессе защищав, по сути, лишь свой поздний тезис, что "искусство есть форма частного предпринимательства", он позже, в успехе, отклонился от верной самооценки. Ему начало мниться, что он провел гигантскую борьбу с коммунистическим режимом, нанес ему страшные удары, он сравнивает себя с Тезеем, победителем Минотавра...

После нескольких лет запретной цензуры и, вероятно, растущего раздражения, Бродский эмигрировал. По общепринятой ныне версии о насильственном изгнании, пишется об этом так: "В 1972 году советские власти вручили Бродскому, вопреки его желанию, визу на выезд в Израиль, фактически выслали из СССР". Сам Бродский пишет куда честней: "Бросил страну, что меня вскормила", "я сменил империю. Этот шаг продиктован был тем, что несло горелым с четырех сторон". ... И позже: "А что насчет того, где выйдет приземлиться, земля везде тверда; рекомендую США".

Стихи Бродского часто движутся сильнейшим желанием спрятать чувство, и оттого впечатление, что стих не вылился, а — расчетливо сделан. Порой поэт демонстрирует высоты эквилибристики, однако не принося нам музыкальной, сердечной или мыслительной радости. Виртуозность тоже становится однообразной. Как сказал Ж.-Ф. Милле: горе художнику, талант которого больше бросается в глаза, чем его создание.

Поэт настолько выходит из рамок силлабо-тонического стихосложения, что стихотворная форма уже как бы (или явно) мешает ему. Он все более превращает стих в прозу (но тоже очень нелегкую для чтения). Начинаешь воспринимать так: да зачем же он вставляет в прозу рифмы? Бродский революционно **сотрясает** русское стихосложение. (В единственном нашем обмене письмами, году в 1978, я написал ему об этом.) Он вносит — сразу много резче, чем требует эволюция протекающего времени.

Бродский настойчиво придает своим стихам музыкальные названия: ноктюрн, полонез, квинтет, дивертисмент, романс, ария, колыбельная, песня, песенка, пенька... В тексте нередко встречаем образования "до-ре-ми" и еще длинной цепочки. Однако: музыкальность — во множестве его стихов — никак не найти, не услышать именно **звучания**, богатого и значительного, скорей — звуковое однообразие. А иногда — нарочито режущая фонетика. И еще этот шип возвратных причастий: **движущися, развивающися, болтающися**. Распространено противоположное мнение: что стихи Бродского даже особенно музыкальны. Ссылаются на его манеру чтения. Мне не пришлось его чтения слышать. Но я принципиально считаю, что качество стихов не должно зависеть от авторской манеры чтения. Уравнительно с поэтами минувшего времени: стихи должны **звучать** прямо с бумаги.

Глубинных возможностей русского языка Бродский вовсе не использовал, огромный органический слой русского языка как не существует для него, или даже ему не известен, не проблеснет ни в чем. Однако обращается он с языком лихо, то нервно его ломает, то грубо взрывает ритмическим, неразборчивым в выборе слов, то просто небрежен к синтаксису и грамматике.

Поэт широко открыл вход для таких выражений, которые, отделив прочтя, трудно признать осколками стихов, поэтическими оборотами: **является в одно и то же время; представляет собой; посредством луж; при содействии луж; ряд наблюдений; предьявляя транзит; освоение космоса; данная песня; данный эффект; о вешах, не имеющих отношения; с точки зрения ландшафта; максимуму крика чаек; в определенном возрасте; плюс готовность; в итоге вздрагиваешь**.

А следуя все той же тактике языковых взрывов, поэт вперемежку посылает нам: "пусть КГБ на меня не прочит", "сухой мандраж", "кладу на мысль о камуфляже"; "ах ты бя"; и несколько раз — прямой и прямой мат. (И во всем же этом шегольстве слух различает неорганичность автору даже и этой брани, заимствованность.)